

# Глава III. Изначальные долги

*“Поистине, каждый, кто существует, уже по рождению рождается в долгу перед богами, риши, предками и людьми... Тем, что должен совершать жертвоприношения, он рождается в долгу перед богами... А тем, что должен учиться (веде), он рождается в долгу перед риши... А тем, что должен желать потомства, он рождается в долгу перед предками... А тем, что должен давать приют, он рождается в долгу перед людьми.*

*Шатапатха-брахмана 1.7.2, 1-5*

*“Как собираем мы шестнадцатую часть,  
Как восьмую, как (весь) долг,  
Так собираем мы для Апты  
Весь дурной сон.*

*Ригведа 8.47.17*

Причина, по которой нынешние учебники по экономике начинаются с описания воображаемых деревень, состоит в том, что в реальной жизни таких деревень нет. Даже некоторые экономисты были вынуждены признать, что Земли меновой торговли, о которой писал Смит, не существует[53].

Вопрос в том, почему, несмотря ни на что, этот миф продолжает существовать. Экономисты давно отвергли другие положения «О богатстве народов», например рабочую теорию стоимости Смита и его критическую оценку акционерных компаний. Почему просто не признать, что миф о меновой торговле — это лишь забавная притча эпохи Просвещения, и не попытаться исследовать изначально кредитные соглашения или хоть что-то более соответствующее историческим фактам?

На самом деле от мифа о меновой торговле нельзя отказаться, поскольку он играет центральную роль во всей экономической науке.

Вспомним, чего хотел добиться Смит, когда писал свой труд «О богатстве народов». В первую очередь он пытался обосновать право на существование новоявленной экономической дисциплины. Это означало, что она не только имела свою особую сферу

исследования, которую мы теперь называем «экономикой» (сама мысль о том, что есть нечто под названием «экономика», во времена Смита была внове); она еще и действовала в соответствии с законами, подобными тем, которые управляют физическим миром и которые незадолго до того открыл сэр Исаак Ньютон. Ньютон представлял Бога в образе небесного часовщика, который создал физический механизм Вселенной, действующий во благо человечества, и затем предоставил его самому себе. Смит пытался вывести закон, подобный Ньютону[54]. Бог, или, как он выражался, Божественное провидение, устроил дела таким образом, что в условиях свободного рынка нашим стремлением к достижению личного интереса будет руководить «невидимая рука», направляющая его к пользе всего общества. Знаменитая невидимая рука Смита является, как он пишет в своей «Теории нравственных чувств», орудием в руках Божественного провидения. Фактически это рука Господа[55].

После того как основы экономической науки были заложены, потребность в теологических доводах отпала. Люди продолжают спорить, действительно ли свободный рынок принесет те плоды, о которых говорил Смит; но никто не задается вопросом, существует ли на самом деле «рынок». Вытекающие из этого понятия исходные допущения стали общепринятыми — настолько, что, как я отмечал, мы просто уверены: когда ценные предметы переходят из рук в руки, то это происходит потому, что два человека решили, будто они оба получают от обмена ими материальную выгоду. Интересным следствием этого стало то, что экономисты стали считать неважным, используются ли, собственно, деньги или нет, поскольку деньги — это всего лишь товар, который призван облегчить обмен и который мы применяем для оценки стоимости других товаров. Иными словами, специфических свойств у него нет. Более того, в 1958 году Пол Сэмюэльсон, один из ведущих ученых неоклассической школы, которая до сих пор преобладает в современной экономической мысли, с презрением отозвался о том, что он называл «выдуманной социальной функцией денег». «Даже в самых развитых индустриальных экономиках, — утверждал он, — если мы сведем обмен к базовым операциям и уберем слой денег, который только сбивает с толку, то мы увидим, что торговля между людьми и странами основывается на меновой торговле»[56]. Другие говорили о «завесе денег», скрывающей природу «реальной экономики», в которой люди производят реальные товары и услуги и обмениваются ими[57].

Это — апофеоз общепринятой экономической науки. Деньги неважны. Экономика — «реальная экономика» — на самом деле представляют собой огромные системы меновой торговли. Проблема в том, что, как учит нас история, таких огромных систем меновой торговли без денег не бывает. Даже когда экономики «возвращаются к меновой торговле», как это якобы произошло в Европе в Средние века, они не отказываются от употребления денег. В них перестает использоваться наличность. В Средние века, например, все продолжали определять стоимость инструментов и скота в старых римских монетах, хотя сами эти монеты исчезли из обращения[58].

Именно деньги дали нам возможность представлять себя такими, какими рисуют нас экономисты, то есть собранием людей и народов, главным занятием которых является обмен вещами. Очевидно также, что самого по себе существования денег недостаточно для того, чтобы воображать себе мир таким. Если бы он действительно был таким, то экономическая наука была бы создана древними шумерами, ну или, во всяком случае, задолго до 1776 года, когда вышла в свет книга Адама Смита «О богатстве народов».

Недостающим элементом здесь является то, что Смит старался затушевать, а именно роль правительственной политики. В Англии во времена Смита стало возможным рассматривать рынок — мир торговцев мясом, скобяными изделиями и галантерейными товарами — как совершенно обособленную сферу человеческой деятельности благодаря тому, что британское правительство активно поощряло его развитие. Для этого были нужны законы и полиция, а также специфическая монетарная политика, за которую ратовали — причем успешно — либералы вроде Смита[59]. Она предполагала привязку валюты к серебру и в то же время значительное расширение денежного предложения, прежде всего за счет увеличения количества мелкой монеты в обращении. Это потребовало не только большого количества олова и меди, но и тщательного регулирования банков, которые в те времена были единственными эмитентами бумажных денег. В столетие, предшествовавшее изданию «О богатстве народов», с треском провалились по меньшей мере две попытки создать центральные банки, которые бы пользовались государственной поддержкой: во Франции и в Швеции. В каждом из этих случаев будущий центральный банк выпускал банкноты, руководствуясь спекулятивными соображениями, и терпел крах тогда, когда инвесторы утрачивали к нему доверие. Смит поддерживал использование бумажных денег, но, как и Локк до него, верил, что относительный успех Банка Англии и Банка Шотландии был обусловлен тем, что они крепко привязали бумажные деньги к драгоценным металлам. Эта идея получила такое распространение среди экономистов, что альтернативные теории, рассматривавшие деньги как кредит, например та, что предлагалась Митчелл-Иннесом, очень скоро стали считаться маргинальными, а за их сторонниками закрепилась слава чудаков, поскольку стало считаться, что такой подход ведет в первую очередь к появлению плохих банков и спекулятивных пузырей.

Имеет смысл рассмотреть подробнее эти альтернативные теории.

## Государство и кредитные теории денег

Митчелл-Иннес был представителем направления, которое вошло в историю как кредитная теория денег. В XIX веке своих самых горячих поборников она обрела не на родине Митчелл-Иннеса, в Великобритании, а в двух быстро развивавшихся державах, которые стали ее соперницами: в Соединенных Штатах и в Германии. Сторонники кредитной теории утверждали, что деньги — это не товар, а инструмент учета. Иными словами, это вовсе не «вещь». К доллару или дойчмарке так же трудно прикоснуться, как к часу или к кубическому сантиметру. Денежные единицы — это лишь абстрактные единицы измерения, и, как справедливо отмечали сторонники кредитной теории, исторически такие абстрактные системы учета появились задолго до каких-либо знаков обмена[60].

Дальше напрашивается вопрос: если деньги всего лишь измерительная линейка, то что, собственно, они измеряют? Ответ простой: долг. Монета на самом деле представляет собой долговую расписку. В то время как, согласно традиционным представлениям, банкнота является или должна быть обещанием выплатить определенное количество «реальных денег» (золота, серебра или любой другой вещи, наделенной таким смыслом), сторонники кредитной теории полагали, что банкнота — это просто обещание заплатить нечто имеющее такую же стоимость, как унция золота. И ничего более. В этом отношении нет

принципиальной разницы между серебряным долларом, долларовой монетой Сьюзен Б. Антони из медно-никелевого сплава, немного похожего на золото, зеленой бумажкой с портретом Джорджа Вашингтона или цифровыми данными, хранящимися в компьютере какого-нибудь банка. Мысль о том, что золотая монета — это всего лишь долговая расписка, довольно трудно доходит до сознания людей, но она отражает действительность, потому что даже в те времена, когда имели хождение золотые и серебряные монеты, они почти никогда не соответствовали стоимости этих металлов.

Как могли появиться кредитные деньги? Вернемся в воображаемый город из учебников по экономике. Допустим, Джошуа отдал свои ботинки Генри. Скорее всего, Генри не будет обязан ему услугой, а пообещает дать что-то равное ботинкам по стоимости[61]. Генри даст Джошуа долговую расписку. Джошуа может подождать, пока у Генри не появится что-нибудь ценное, чтобы расплатиться по долгу. В этом случае Генри порвет расписку, и дело на этом закончится. Но предположим, что Джошуа передаст расписку третьей стороне — Шейле, которой он должен что-то еще. Она может использовать расписку, чтобы погасить свой долг перед четвертой стороной, Лолой, и тогда Генри будет должен эту сумму ей. Так и появляются деньги, ведь никаких логических ограничений у этого процесса нет. Шейла хочет купить пару обуви у Эдиты; она просто отдает расписку Эдите и уверяет ее, что Генри можно доверять. В принципе нет причин, по которым расписка не могла бы находиться в обращении в этом городе годами, при условии что люди по-прежнему доверяют Генри. Более того, если это продолжается долго, люди вообще могут забыть, кто выдал эту расписку. Такое случается в реальной жизни. Антрополог Кейт Харт однажды рассказал мне историю из жизни своего брата, который в 1950-х годах служил в британских войсках, расквартированных в Гонконге. Чтобы расплатиться по счету в барах, солдаты выписывали чеки на счета, размещенные в Англии. Местные торговцы зачастую просто передавали их друг другу и обращались с ними как с валютой: однажды он увидел на прилавке местного продавца один из чеков, который он выписал за полгода до того и на котором красовалось около 40 различных мелких надписей по-китайски.

Поборники кредитной теории вроде Митчелл-Иннеса утверждали, что, даже если бы Генри дал Джошуа золотую монету вместо бумажки, ничего бы, в сущности, не изменилось. В конце концов, люди принимают золотые монеты не потому, что они ценны сами по себе, а потому, что полагают, что их примут и другие люди.

В этом смысле стоимость денежной единицы является не мерой стоимости предмета, а мерой доверия по отношению к другим людям.

Этот элемент доверия, естественно, всё усложняет. Обращение первых банкнот происходило почти так, как я только что описал, за тем лишь исключением, что, подобно китайским торговцам, каждый получатель добавлял свою подпись, которая гарантировала законность долга. Но в целом проблема хартальной теории — такое название она получила от латинского слова *charta*, то есть бумага, — заключалась в том, чтобы объяснить, почему люди и дальше продолжали доверять клочку бумаги. В конце концов, почему кто-нибудь не мог просто взять и написать имя Генри на расписке? Такая система долговых расписок могла работать в маленьком селении, где все друг друга знали, или даже в более крупном сообществе вроде итальянских купцов XVI века или китайских торговцев века двадцатого,

каждый из которых следил за делами остальных. Но подобные системы не могут положить начало полноценной денежной системе — документальных подтверждений этому нет. Для того чтобы даже в городе средних размеров каждый житель мог осуществлять значительную часть своих ежедневных покупок в такой валюте, потребовались бы миллионы расписок[62]. Генри должен был бы быть сказочно богат, чтобы все их гарантировать.

В то же время всё это было бы намного меньшей проблемой, если бы Генри был, например, Генрихом II, королем Англии, герцогом Нормандии, лордом Ирландии и графом Анжу.

Начальный импульс хартальной теории задали ученые так называемой немецкой исторической школы, самым известным представителем которой был историк Г. Ф. Кнапп, опубликовавший свой труд «Государственная теория денег» в 1905 году[63]. Если деньги — это единица измерения, то императорам и королям имело смысл самим заниматься ими, ведь они почти всегда стремятся установить в своих владениях единообразные системы мер и весов. Справедливо также замечание Кнаппа о том, что такие системы оказываются очень стабильными на протяжении длительного времени. Во времена Генриха II (1154–1189) практически все в Западной Европе продолжали вести счета, используя систему, введенную Карлом Великим за 350 лет до того, то есть считая в фунтах, шиллингах и пенсах, даже несмотря на то, что некоторые из этих монет никогда не существовали (Карл Великий никогда не чеканил серебряный фунт) и что в обращении не осталось ни одного шиллинга или пенса, выпущенного при Карле Великом, а те монеты, которые всё еще имели хождение, сильно различались по размеру, весу, чистоте пробы и стоимости[64]. С точки зрения хартальной теории это не имеет особого значения. Важно то, что существует единообразная система измерения кредитов и долгов и что эта система остается стабильной во времени. Пример денег Карла Великого особенно показателен, поскольку его империя распалась довольно быстро, а созданная им денежная система продолжала использоваться для ведения счетов на некогда подвластных ему территориях на протяжении более 800 лет. В XVI веке ее открыто называли «воображаемыми деньгами», а от денег и ливров как от единиц ведения счета отказались лишь во времена Французской революции[65].

По мнению Кнаппа, не так уж важно, соответствуют ли деньги, действительно находящиеся в обращении, этим «воображаемым деньгам». Нет разницы, выполняют ли роль реальных денег чистое серебро или серебро с примесью, кожаные денежные знаки или сушеная треска, — главное, чтобы государство соглашалось принимать их в качестве уплаты налогов. Ведь то, что государство соглашалось принимать, и становилось деньгами. Одной из основных форм денег в Англии времен Генриха были бирки с зарубками, которые использовались для записи долгов. Бирки, по сути, были долговыми расписками: обе стороны, участвовавшие в сделке, брали прут орехового дерева, делали на нем зарубки, указывавшие размер долга, и затем разрубали его на две части. Та часть, которую забирал кредитор, называлась the stock (отсюда термин stock holder — «держатель акций»). Часть должника называлась the stub (отсюда термин ticket stub — «отрывной талон»). Налоговые чиновники использовали такие прутья для подсчета сумм, которые должны были выплачивать местные шерифы. Но зачастую казначейство Генриха предпочитало не ждать получения налоговых выплат, а продавало бирки по сниженной цене, и все, кто хотел

торговать в обмен на них, могли использовать эти знаки долга перед правительством[66].

Современные банкноты работают по такому же принципу, только наоборот[67]. Вспомните нашу притчу о долговой расписке Генри. Читатель, возможно, заметил, что в этом уравнении есть один путаный момент: расписка может играть роль денег только потому, что Генри не выплачивает свой долг. Именно на этой основе был создан Банк Англии — первый успешный современный центральный банк. В 1694 году консорциум английских банкиров предоставил королю заем в 1200 тыс. фунтов стерлингов. Взамен они получили королевскую монополию на выпуск банкнот. На практике это означало, что в обмен на ту долю денег, которую им должен был король, они имели право выдавать расписки любому жителю королевства, желавшему взять у них кредит или положить свои деньги в банк, то есть пустить в обращение или «монетизировать» вновь созданный королевский долг. Для банкиров это была отличная сделка (они брали с короля восемь процентов годовых с изначального долга и взимали процент еще и с клиентов, которые занимали эти деньги), но всё это могло работать только до тех пор, пока долг оставался невыплаченным. До сегодняшнего дня этот заем так и не был возвращен. И не может быть возвращен. Если бы он был выплачен, вся денежная система Великобритании перестала бы существовать[68].

Такой подход позволяет раскрыть одну из главных загадок налоговой политики многих ранних государств: почему они вообще заставляли подданных платить налоги? Мы не привыкли задаваться таким вопросом. Ответ кажется очевидным. Правительства требуют уплаты налогов, потому что хотят наложить руку на деньги людей. Но если Смит был прав и золото и серебро стали деньгами благодаря естественному функционированию рынка, который никак не зависел от правительств, то не было бы для них естественным захватить контроль над золотыми и серебряными рудниками? Тогда короли смогли бы чеканить столько денег, сколько им было бы нужно. Собственно, это короли обычно и делали. Если на их территории находились золотые и серебряные рудники, они прибирали их к рукам. Так зачем вообще нужно добывать золото, штамповать на нем собственное изображение, пускать его в обращение между своими подданными, а потом требовать от них, чтобы они его возвращали?

Это похоже на головоломку. Но если деньги и рынки появляются не стихийно, то всё встает на свои места. Потому что это самый простой и эффективный способ создать рынки. Возьмем гипотетический пример. Допустим, король хочет обеспечить снабжение постоянной армии численностью в 50 тыс. человек. В условиях Древности или Средневековья прокормить такое войско было целой проблемой: если оно не было в походе, то нужно было задействовать почти столько же людей для размещения солдат и для закупки и транспортировки необходимых им товаров[69]. С другой стороны, если вы просто даете солдатам монеты, а потом каждую семью в королевстве обязываете вернуть вам одну из этих монет, то вся экономика страны, как по мановению волшебства, превращается в огромную машину, работающую на снабжение армии, поскольку теперь для того, чтобы получить монеты, каждая семья должна каким-то образом содействовать общим усилиям по обеспечению солдат необходимыми им вещами. Рынки возникают как побочный эффект.

Это сильно упрощенная версия, но совершенно очевидно, что рынки стали возникать вокруг древних армий; достаточно взглянуть на трактат Каутильи «Артхашастра», сасанидский

«круг суверенитета» или китайский «Спор о соли и железе», чтобы убедиться в том, что древние правители в основном занимались тем, что размышляли над взаимосвязью между рудниками, солдатами, налогами и продовольствием. Большинство из них пришло к выводу, что создание такого рода рынков было целесообразным не только для того, чтобы кормить солдат, но и во всех прочих отношениях, поскольку теперь офицерам не было надобности реквизировать напрямую у населения всё, что им было нужно, или производить это на царских землях или в царских мастерских. Иными словами, в отличие от прочно укоренившегося либерального представления, которое идет от Смита и заключается в том, что государства и рынки до некоторой степени противостоят друг другу, исторические факты свидетельствуют, что всё было с точностью до наоборот. Общества, не имевшие государства, как правило, не знали и рынков.

Как нетрудно представить, государственные теории денег всегда проклинались экономистами, которые следовали традиции, идущей от Адама Смита. Хартализм нередко считался популистской версией экономической теории, которая пользовалась популярностью у разных чудаков[70]. Забавно, что традиционные экономисты часто устраивались работать при правительствах и советовали им, как осуществлять политику вроде той, что описывали сторонники хартализма, а именно налоговую политику, которая преследует цель создавать рынки там, где их раньше не было. И это несмотря на то, что в теории они придерживались положения Смита о возникновении рынков стихийно, по собственному почину.

Особенно ярко это проявлялось в колониальном мире. Вернемся на мгновение на Мадагаскар: я уже упоминал, что одной из первых вещей, которую сделал французский генерал Галльени, покоритель Мадагаскара, после завершения завоевания острова в 1901 году, стало введение подушного налога. Этот налог не только был высоким, но еще и должен был выплачиваться в новых малагасийских франках. Иными словами, Галльени напечатал деньги, а потом стал требовать, чтобы каждый житель страны вернул ему часть этих денег.

Но самым поразительным было то, как описывался этот налог. Он назывался *impôt moralisateur* — воспитательный, или приучающий к нравственности, налог. То есть он был призван, выражаясь языком той эпохи, втолковать аборигенам ценность работы. Поскольку «воспитательный налог» нужно было уплачивать вскоре после сбора урожая, крестьянам было проще всего получить деньги, продав часть собранного риса китайским или индийским торговцам, которые быстро обосновались в мелких городках страны. По очевидным причинам после сбора урожая рыночные цены на рис были минимальны; если кто-то продавал слишком много риса, это означало, что ему могло не хватить на пропитание семьи в течение всего года, и тогда он должен был покупать собственный же рис в кредит у тех же самых торговцев, но уже по гораздо более высокой цене. В результате крестьяне влезали в огромные долги (торговцы брали ростовщические проценты). Было легче всего выплатить долг, начав выращивать какую-нибудь товарную культуру на продажу — кофе или ананасы — или отправляя одного из детей на заработки в город или на одну из плантаций, которые устраивали на острове французские колонисты. Весь этот проект может показаться не более чем циничной схемой эксплуатации дешевого крестьянского труда. Таким он и был, но у него была еще и другая цель. Колониальное правительство откровенно

говорило (по крайней мере, в документах, предназначенных для внутреннего пользования) о том, что у крестьян должно оставаться на руках хоть немного денег и что они должны привыкнуть к безделушкам вроде зонтиков, губной помады и печенья, которые продавались в китайских магазинах. Важно было привить им новые вкусы, привычки и создающие потребительский спрос ожидания, которые сохранятся после ухода завоевателей и навсегда привяжут Мадагаскар к Франции.

Но люди в массе своей не идиоты, и большинство мальгашей прекрасно поняли, что пытались сделать с ними завоеватели. Некоторые решили сопротивляться. Через шестьдесят с лишним лет после покорения острова французский антрополог Жерар Альтаб наблюдал, как жители деревень на восточном побережье послушно приходили на кофейные плантации, чтобы заработать деньги на уплату подушного налога, а уплатив его, намеренно игнорировали товары, продававшиеся в местных лавках, и отдавали все оставшиеся деньги старейшинам рода, которые покупали на них скот для принесения жертв предкам[71]. Многие вполне открыто говорили, что, по их мнению, так они избегали ловушки.

Однако такое сопротивление редко когда длится вечно. Постепенно рынки появились даже в тех частях острова, где никогда прежде не существовали, а с ними неизбежно возникла и сеть мелких лавок. Когда я оказался там в 1990 году, поколение спустя после отмены подушного налога революционным правительством, логика рынка настолько проникла в сознание людей, что даже духовные медиумы произносили речи, которые казались заимствованными у Адама Смита.

Такие примеры можно приводить до бесконечности. Нечто подобное произошло во всех завоеванных европейцами частях света, где еще не было рынков. Так и не обнаружив меновой торговли, они в конце концов стали использовать приемы, отвергавшиеся классическими экономистами, для того чтобы создать нечто похожее на рынки.

## В поисках мифа

Антропологи жаловались на миф о меновой торговле почти целое столетие. Иногда экономисты отмечали с легким раздражением, что они продолжают рассказывать несмотря ни на что всё ту же историю по одной простой причине: антропологи так и не предложили ничего лучшего[72]. Возражение вполне понятное, но на него есть и простой ответ. Антропологи так и не смогли предложить ясную и убедительную историю происхождения денег потому, что, судя по всему, такой истории вообще не было. Деньги никто не изобретал, точно так же как не были «изобретены» музыка, математика или ювелирное искусство. То, что мы называем «деньгами», вовсе не «вещь», а лишь способ математического сравнения вещей, подобный пропорции: например, один икс равен шести игрекам. Такое использование денег, возможно, возникло уже тогда, когда человек научился думать. Когда мы пытаемся выяснить детали, то обнаруживается, что существует множество различных обычаев и практик, которые слились в то, что мы теперь называем «деньгами», и именно по этой причине экономистам, историкам и всем остальным так трудно предложить их единое определение.

Долгое время приверженцам кредитной теории мешало отсутствие у них столь же убедительной версии, как традиционная. Но это не значит, что все участники споров о деньгах, которые велись между 1850 и 1950 годом, не могли прибегнуть к собственному мифологическому оружию. Это хорошо видно на примере Соединенных Штатов. В 1894 году гринбекеры, настаивавшие на том, что доллар необходимо отвязать от золота, чтобы позволить правительству свободно тратить деньги на создание рабочих мест, решили устроить марш на Вашингтон — эта идея впоследствии стала в США очень популярной. Книга Л. Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», изданная в 1900 году, считается иносказательным рассказом о популистской кампании Уильяма Дженнингса Брайана, который дважды баллотировался на пост президента, выступая с программой «свободного серебра». Суть ее заключалась в замене золотого стандарта на биметаллическую систему, которая дала бы возможность свободно выпускать серебряные деньги наряду с золотыми[73]. Как и в случае гринбекеров, одними из главных сторонников движения стали должники, особенно семьи фермеров со Среднего Запада вроде семьи Дороти, многие из которых утратили право выкупать свое заложенное имущество во время тяжелой рецессии 1890-х годов. В популистском прочтении Злые Ведьмы Востока и Запада представляли собой банкиров Восточного и Западного побережий (инициаторов политики ограничения денежного предложения и ее выгодополучателей), Страшила воплощал фермеров (у которых не было мозгов, чтобы избежать долговой ловушки), Железный дровосек был промышленным пролетариатом (у которого не было сердца, чтобы поддержать фермеров), а Трусливый Лев отражал политический класс (у которого не хватило смелости вмешаться). Дорога из желтого кирпича, серебряные башмачки, изумрудный город и незадачливый Волшебник говорят сами за себя[74]. Оз — это стандартная аббревиатура «унции»[75]. Как попытка создать новый миф история Баума оказалась на редкость удачной, а вот как политическая пропаганда — не очень. Уильям Дженнингс Брайан в общей сложности трижды провалился на президентских выборах, серебряный стандарт так и не был принят, и сегодня мало кто помнит, с какой целью изначально задумывался «Удивительный волшебник из страны Оз»[76].

Для сторонников теории государственных денег это было проблемой. Истории о правителях, которые используют налоги для создания рынков на завоеванных территориях, для выплаты жалованья солдатам или для покрытия других государственных нужд, не сильно вдохновляют. Немецкие идеи о том, что деньги — это воплощение национального духа, тоже не обрели особой популярности.

Вместе с тем всякое крупное экономическое потрясение наносило очередной удар по общепринятой либеральной теории. Кампания Брайана стала реакцией на Панику 1893 года. Во времена Великой депрессии 1930-х годов сама мысль о том, что рынок может сам себя регулировать, а правительство должно обеспечивать прочную привязку денег к драгоценным металлам, полностью себя дискредитировала. Приблизительно с 1933 по 1979 год правительства всех крупных капиталистических стран полностью сменили курс, приняв кейнсианство в той или иной форме. Кейнсианская теория отталкивалась от предположения о том, что капиталистические рынки могут функционировать лишь тогда, когда капиталистические правительства берут на себя заботу о них, то есть стимулируют экономику за счет наращивания дефицита во время спада. В 1980-х годах Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональд Рейган в США устроили целый спектакль, отвергнув этот

принцип на словах, но неясно, действительно ли это произошло на деле[77]. В любом случае они действовали уже после того, когда по классической монетарной теории был нанесен еще более мощный удар: им стало решение, принятое Ричардом Никсоном в 1971 году и заключавшееся в том, что доллар был полностью отвязан от драгоценных металлов, международный золотой стандарт был отменен, а на смену ему пришла система плавающих валютных курсов, которая с тех пор доминирует в мировой экономике. Это означало, что все национальные валюты теперь стали, по выражению экономистов неоклассической школы, «фиатными деньгами», обеспеченными лишь общественным доверием.

Джон Мейнард Кейнс прислушивался к доводам «альтернативной традиции», как он ее называл, кредитной и государственной теорий намного больше, чем любой другой экономист его масштаба (а Кейнс остается крупнейшим экономическим мыслителем XX века) до или после него. До некоторой степени он и сам погрузился в эту традицию: в 1920-х годах он несколько лет изучал месопотамские клинописные банковские записи, пытаясь выявить происхождение денег, — это было его «вавилонское безумие», как он говорил позднее[78]. Его выводы, изложенные в самом начале «Трактата о деньгах», его самой известной работы, более или менее соответствовали единственному заключению, к которому только можно прийти, если опираться не на базовые принципы, а на тщательное исследование исторических свидетельств. Состояли эти выводы в том, что точка зрения чудаков была верной. Какими бы ни были более ранние истоки денег, в последние четыре тысячи лет они были творением государства. Люди, отмечал он, заключают друг с другом контракты. Они берут кредиты и обещают их выплатить.

“ Таким образом, государство выступает прежде всего как законная власть, которая добивается оплаты того, что соответствует контракту по названию или по описанию. И выступает в этой роли вдвойне, когда к тому же присваивает себе право определять и провозглашать, что именно соответствует этому названию, и право время от времени менять это определение, то есть менять смысл слов. Это право присваивают себе все современные государства и присваивали их предшественники на протяжении по меньшей мере четырех тысяч лет. Когда была достигнута эта стадия эволюции денег, харральная теория Кнаппа, в соответствии с которой деньги создаются государством, в полной мере подтвердилась... Все сегодняшние цивилизованные деньги, вне всякого сомнения, являются харральными[79].

Это не означает, что государство обязательно создает деньги. Деньги — это кредит, они могут появляться благодаря частным договорным соглашениям (например, кредитам). Государство просто обеспечивает их выполнение и диктует юридические условия. А вот следующее утверждение Кейнса: банки создают деньги, и ничто их в этом не ограничивает — ведь сколько бы они ни давали в долг, заемщику не остается ничего, кроме как опять положить деньги в какой-нибудь банк, а значит, с точки зрения банковской системы в целом дебет и кредит взаимно уравнивают друг друга[80]. Последствия этого были радикальными, только вот Кейнс радикалом не был. Он всегда старался формулировать проблему так, чтобы ее можно было реинтегрировать в экономическую науку его эпохи.

Да и мифотворцем Кейнс не был. Альтернативная традиция смогла предложить ответ на миф о меновой торговле благодаря усилиям не самого Кейнса (он в конечном счете решил, что вопрос о происхождении денег не имел особого значения), а отдельных современных некейнсианцев, которые не побоялись максимально развить некоторые из его наиболее радикальных идей.

Самым слабым звеном в государственно-кредитных теориях денег был вопрос о налогах. Одно дело — объяснить, почему ранние государства требовали уплаты налогов (чтобы создать рынки). Совсем другое — задаться вопросом «А по какому праву?». Если признать, что древние правители не были обыкновенными бандитами, а налоги не были банальным вымогательством (насколько мне известно, ни один сторонник кредитной теории не придерживался столь циничной оценки ранних правительств), то нужно выяснить, чем они это оправдывали.

Сегодня все мы думаем, что знаем ответ на этот вопрос. Мы платим налоги, чтобы правительство могло нам предоставлять определенные услуги. Первая из них — обеспечение безопасности: военная защита зачастую была единственной услугой, которую были в состоянии оказывать ранние государства. Конечно, сегодня правительство предоставляет много чего еще. Считается, что всё это восходит к некоему изначальному «общественному договору», на который каждый согласился, хотя никто точно не знает, когда и кто это сделал и почему мы должны быть связаны решениями наших далеких предков в этой области, тогда как мы не считаем себя особо связанными их решениями, касающимися всего остального[81]. Всё это имеет смысл, если вы полагаете, что рынки появились раньше правительств, но обращается в ничто, когда вы понимаете, что это не так.

Есть и альтернативное объяснение, которое согласуется с государственно-кредитным подходом. Оно носит название «теории изначального долга». Ее разрабатывала группа французских исследователей — не только экономистов, но и антропологов, историков и специалистов по классическим языкам, которые изначально объединялись вокруг Мишеля Альетты и Андре Орлеана[82], а позже вокруг Бруно Тере. Затем ее взяли на вооружение некейнсианцы в США и Великобритании[83].

Эта теория появилась относительно недавно — в ходе споров о природе евро. Создание общей европейской валюты породило острые споры не только между интеллектуалами (подразумевает ли общая валюта появление общего европейского государства? или общей европейской экономики? или общества? это в общем и целом одно и то же или нет?), но и среди политиков. Идею о создании еврозоны отстаивала прежде всего Германия, центральный банк которой по-прежнему видит свою главную цель в борьбе с инфляцией. Более того, поскольку политика ограничения кредита и необходимость достижения сбалансированного бюджета использовалась как главное оружие в борьбе за сворачивание государства всеобщего благосостояния в Европе, она стала основным предметом споров между банкирами и пенсионерами, кредиторами и должниками, накал которых был не меньшим, чем в Америке 1890-х годов.

Главный аргумент теории изначального долга состоит в том, что любая попытка отделить монетарную политику от социальной в корне ошибочна, поскольку они являются единым целым. Правительства могут использовать налоги для создания денег потому, что они стали хранителями долга всех граждан друг перед другом. Этот долг — основа общества как такового. Он появился задолго до денег и рынка, которые служат лишь для того, чтобы раздробить его на мелкие части.

Изначально, гласит теория, это чувство долга выражалось не государством, а посредством религии. Чтобы обосновать эту идею, Альетта и Орлеан обратились к некоторым ранним религиозным санскритским произведениям — гимнам, молитвам, стихотворениям, собранным в Ведах, и к Брахманам, комментариям Вед, которые были составлены жрецами в последующие столетия и ныне считаются первоисточником индуистской мысли. Выбор не такой странный, каким он может показаться на первый взгляд. Эти тексты представляют собой самые древние известные нам размышления о природе долга.

Даже в самых ранних ведийских поэмах, сочиненных приблизительно между 1500 и 1200 годом до н. э., речь постоянно заходит о долге, который выступает синонимом вины и греха[84]. Есть множество молитв, которые обращены к богам с просьбой освободить молящегося от оков или уз долга. Иногда это относится к долгу в прямом смысле. Например, в Ригведе (10.34) дается длинное описание бедственного положения, в котором оказывается игрок: «Обремененный долгами, испуганно ищущий денег, // Идет он ночью в дом других (людей)». В других местах это чистая метафора.

В этих гимнах важную роль играет Яма, бог смерти. Быть в долгу значило нести бремя, возложенное Смертью. Иметь какое-либо невыполненное обязательство или неисполненное обещание по отношению к богам или к людям означало жить в тени Смерти. Даже в самых ранних текстах в понятие «долг» вкладывался более широкий смысл внутреннего страдания, об избавлении от которого человек молил богов, в первую очередь Агни, воплощавшего жертвенный огонь. Лишь в Брахманах комментаторы попытались связать все это в полноценную философскую концепцию. Вывод из нее вытекал такой: человеческое существование само по себе является формой долга.

“ Человек рождается в долгу; сам по себе он рожден для Смерти, и, лишь принося жертвы, он выкупает себя у Смерти[85].

Поэтому жертвоприношение (а эти ранние комментаторы сами были жрецами) называется «данью Смерти». Ну или так оно обозначалось. На самом деле жрецы лучше, чем кто-либо другой, знали, что жертва приносится всем богам, а не только Смерти, которая была лишь посредником. Однако такая постановка вопроса неизбежно порождала проблему, которая возникает всякий раз, когда человеческая жизнь определяется таким образом. Если наши жизни — это заем, кто захочет выплачивать такой долг? Жить в долгу означает быть виновным, неполноценным. Но полноценность может означать уничтожение. Значит, жертвенная «дань» может рассматриваться как своего рода уплата процентов, при этом жизнь животного заменяет то, что является предметом долга, то есть нас самих, — это лишь способ отсрочить неизбежное[86].

Комментаторы-жрецы предложили несколько путей выхода из этой дилеммы. Некоторые дальновидные брахманы стали говорить своим клиентам, что при правильном исполнении ритуал жертвоприношения позволяет полностью освободиться от человеческого существования и обрести вечность (а перед лицом вечности все долги теряют значение)[87]. Другой способ — расширить понятие долга, так чтобы все виды социальной ответственности стали долгами разного рода. В двух знаменитых отрывках из Брахман утверждается, что, рождаясь, мы оказываемся в долгу не только перед богами, с которыми мы расплачиваемся, принося жертву, но и перед мудрецами, которые создали ведийское учение и которым мы должны отплатить учением; перед нашими предками («Отцами»), с которыми мы должны расплатиться, родив детей; и, наконец, перед «людьми», что, видимо, означает перед всем человечеством, с которым мы расплачиваемся, предоставляя кров чужестранцам[88]. Всякий, кто ведет праведный образ жизни, постоянно выплачивает экзистенциальные долги разного рода; в то же время понятие долга вновь обретает смысл простого обязательства перед обществом, а значит, перестает быть таким страшным, как в значении, предполагающем, что само существование человека — это заем, взятый у Смерти[89]. Не в последнюю очередь потому, что обязательства перед обществом носят двусторонний характер. Например, когда у человека появляются дети, он становится и должником, и кредитором.

По сути, авторы теории изначального долга предположили, что идеи, изложенные в этих ведийских текстах, не принадлежат к определенной интеллектуальной традиции, которой придерживаются специалисты, изучающие ранний железный век в долине Ганга, а являются основой самой природы и истории человеческой мысли. Вот, например, отрывок из эссе с многообещающим названием «Социокультурные измерения денег: предпосылки перехода к евро», которое французский экономист Бруно Тере опубликовал в «Журнале потребительской политики» в 1999 году:

“ В основе денег лежит «отношение представления» смерти как невидимого мира, лежащего до и за пределами жизни. Это представление является порождением присущей человеческому роду символической функции, которая рассматривает рождение как первородный долг, возложенный на всех людей, долг перед вселенскими силами, создавшими человечество.

Уплата этого долга, полное возвращение которого на Земле находится за пределами человеческих возможностей, приобретает форму жертвоприношений. Восполняя кредит существования, они позволяют продлить жизнь, а в некоторых случаях — даже достичь бессмертия и примкнуть к сонму богов. Но эта начальная предпосылка веры также связана с появлением верховной власти, чья легитимность основана на способности представлять собой весь изначальный космос. Именно эта власть изобрела деньги, служившие средством возвращения долгов. Абстрактность этого средства позволяет разрешить парадокс жертвоприношения, поскольку превращает убийство в постоянный инструмент защиты жизни. Благодаря этому институту вера находит воплощение в монетах с изображением суверена — так деньги пускаются в

обращение, а их возврат обеспечивается другим институтом, коим является налог/уплата долга за жизнь. Так деньги приобретают также функцию средства платежа[90].

Этот отрывок, по крайней мере, ясно показывает, насколько отличается характер дебатов в Европе от тех, что ведутся в англо-американском мире. Невозможно даже представить себе, чтобы американский экономист любого направления написал что-то в таком духе. Между тем автор предлагает здесь весьма тонкий синтез. Человеческая природа не подталкивает нас «к ведению обмена». Она скорее выражается в том, что мы создаем символы, такие как деньги. Мы считаем, что в космосе нас окружают невидимые силы и что мы находимся в долгу перед Вселенной.

Оригинальность этого рассуждения, безусловно, выражается в том, что оно вплетается в государственную теорию денег: «верховная власть» Тере означает именно «государство». Первые цари были священными и сами считались богами или выступали в роли привилегированных посредников между людьми и высшими силами, управляющими космосом. Это подталкивает нас к постепенному осознанию того, что наш долг перед богами на самом деле всегда был долгом перед обществом, которое сделало нас такими, какие мы есть.

«Изначальный долг, — пишет британский социолог Джеффри Ингем, — это обязанность живущих поддерживать преемственность и прочность общества, которое обеспечивает их индивидуальное существование»[91]. В этом смысле «долг перед обществом» есть не только у преступников — все мы до определенной степени виновны и даже являемся преступниками.

Например, Ингем отмечает, что, хотя нет надежных доказательств того, что деньги появились именно так, «это косвенно подтверждается этимологическими данными»:

“ Во всех индоевропейских языках слово «долг» является синонимом слов «грех» и «вина», что демонстрирует связь между религией, платежом и посреднической функцией денег [как] между сферами священного и мирского. Так, есть связь между деньгами (германское Geld), возмещением или жертвоприношением (староанглийское Geild) и, разумеется, виной (английское guilt)[92].

Или вот еще одна интересная связка: почему скот так часто использовался в качестве денег? Немецкий историк Бернанд Лаум давно отметил, что у Гомера стоимость кораблей или доспехов всегда оценивается в волах, — хотя если происходит обмен вещами, никто за них волами не платит. Отсюда напрашивается вывод: так происходило потому, что волов часто приносили в жертву богам. То есть они представляли собой абсолютную ценность. И в Шумере, и в Античной Греции храмам жертвовали золото и серебро. По-видимому, повсюду деньги появлялись из тех вещей, которые считались самым уместным подношением богам[93].

Если царь просто взял на себя управление нашим изначальным долгом перед обществом, которое нас создало, то это очень точно объясняет, почему правительство считает себя вправе взимать с нас налоги. Налоги — это просто мера нашего долга перед обществом, выпестовавшим нас. Но это не объясняет, каким образом абсолютный долг за жизнь может быть переведен в деньги, которые по определению являются средством оценки и сравнения стоимости различных предметов. Эта проблема встает и перед сторонниками кредитной теории, и перед экономистами неоклассической школы, хотя формулируют они ее каждый по-своему. Если отталкиваться от меновой теории денег, нужно решить, как и почему вы выбираете определенный товар для измерения того, сколько вы хотите получить от остальных. Если исходить из кредитной теории, возникает проблема, которую я описал в первой главе: как преобразовать нравственное обязательство в конкретную сумму денег, как простое осознание того, что вы кому-то обязаны услугой, может превратиться в систему учета, в которой можно точно вычислить, сколько именно овец, рыбы или серебряных чушек требуется для погашения долга. И как перейти от абсолютного долга перед Богом ко вполне конкретным долгам перед родственниками или барменом.

Приверженцы теории изначального долга и здесь предлагают оригинальный ответ. Если налоги воплощают наш абсолютный долг перед создавшим нас обществом, то первым шагом к созданию реальных денег является исчисление намного более конкретных долгов перед обществом, систем штрафов, взысканий и пеней или даже долгов перед конкретными людьми, которым мы причинили какой-либо ущерб и с которыми мы находимся в отношениях «греха» или «вины».

Это вовсе не так невероятно, как кажется. Одна из деталей, которая больше всего сбивает с толку во всех рассмотренных нами теориях о происхождении денег, заключается в том, что они почти полностью игнорируют данные антропологии. Антропологи собрали огромное количество информации о том, как функционировали экономики в обществах, не имеющих государства, и как они продолжают функционировать там, где государства и рынки еще не сумели полностью разрушить существующий строй. Бесчисленное количество исследований посвящено, например, использованию в качестве денег скота в Восточной или Южной Африке, раковин в обеих Америках (вампум — самый известный пример этого) или в Папуа — Новой Гвинее бус, перьев, железных колец, раковин каури или спондилуса, латунных трубок или скальпов дятлов[94]. Причина, по которой экономисты, как правило, игнорируют эти исследования, проста: «примитивные деньги» такого рода редко когда служат для купли и продажи вещей; даже если их и употребляют в этих целях, то никогда не используют для купли и продажи бытовых предметов вроде кур, яиц, ботинок или картошки. Их используют не для приобретения вещей, а в основном для налаживания отношений между людьми, прежде всего для заключения браков или решения споров, особенно тех, которые возникают на почве убийства или личного оскорбления.

Есть все основания верить, что именно так и появились наши деньги. Даже английский глагол to pay (платить) происходит от глагола «умиротворять, успокаивать», то есть дать другому человеку нечто ценное, чтобы выразить свое сожаление по поводу того, что вы убили его брата в пьяной драке, и дать ему понять, что вы очень хотели бы избежать кровной мести с его стороны[95].

Последнему варианту теории долга уделяют особое внимание, отчасти потому, что, пренебрегая антропологической литературой, они обращаются к древним судебникам. Дорогу в этом направлении им проложили фундаментальные труды Филипа Грирсона, одного из крупнейших нумизматов двадцатого столетия, который в 1970-х годах предположил, что деньги могли возникнуть на основе раннего процессуального права. Специалист по европейским «темным векам», Грирсон особенно увлекался «Варварскими правдами», которые в VII–VIII веках, после гибели Римской империи, составляли германские народы — готы, фризы, франки и другие; позднее подобные правды появились повсюду от Руси до Ирландии. Конечно, это уникальные документы. С одной стороны, они со всей очевидностью показывают, насколько ошибочны традиционные версии истории, в соответствии с которыми Европа в ту эпоху «вернулась к меновой торговле». Почти во всех германских правдах пени указывались в римской монете; штрафы за воровство, например, почти всегда сопровождаются требованием, чтобы вор не только вернул украденную собственность, но и выплатил упущенную ренту (или, в случае кражи денег, проценты) за тот срок, на протяжении которого он ею владел. С другой стороны, судебники, которые позднее появились у народов, никогда не живших под римской властью: в Ирландии, Уэльсе, странах Северной Европы, на Руси, еще более показательны. Они были на редкость изобретательны как в определении средств платежа, так и в точном указании видов телесных повреждений и оскорблений, которые требовали компенсации:

“ В валлийских законах для выражения размеров компенсации использовался прежде всего скот, а в ирландских — скот или крепостные (кумалы); и в том и в другом случае также широко использовались драгоценные металлы. В германских правдах штрафы указывались в основном в драгоценных металлах... В русских правдах эту роль выполняли серебро и меха, от кунных до беличьих в зависимости от характера штрафа. Такая точность тем более примечательна, что касается не только телесных повреждений — отдельные компенсации предусмотрены за потерю всей руки, кисти, указательного пальца, ногтя, за такую тяжелую рану на голове, что видна кость или мозг, — но и собственности личных домохозяйств. Раздел II Салической правды посвящен краже свиней, раздел III — краже рогатых животных, раздел IV — овец, раздел V — коз, раздел VI — собак, и всякий раз тщательно указывается разница между животными различного возраста и пола[96].

Это имеет большое психологическое значение. Как я уже отмечал, сложно представить себе, как система точных эквивалентов (одна молодая и здоровая молочная корова точно равна 36 цыплятам) могла возникнуть из большинства форм обмена подарками. Если Генри дает Джошуа свинью и считает, что взамен получил не соответствующий ей подарок, он может выставить Джошуа скрягой, но вряд ли сможет вывести математическую формулу для определения того, насколько Джошуа жадный. С другой стороны, если свинья Джошуа разорила сад Генри и особенно если это привело к драке, в которой Генри потерял палец ноги, и теперь семья Генри обвиняет Джошуа на деревенском сходе, то это как раз те условия, в которых люди обычно цепляются к каждой мелочи и негодуют в том случае, когда считают, что получили на грош меньше, чем им полагалось по справедливости. Это означает точное математическое выражение, например возможность измерить точную

стоимость двухлетней беременной свиноматки. Более того, взыскание штрафов должно постоянно требовать установления эквивалентов. Допустим, штраф выражен в куньих шкурках, но у клана обидчика нет куниц. Сколько беличьих шкурок они должны отдать? Или серебряных украшений? Такие проблемы должны были возникать постоянно и приводили к выработке общих правил, пусть и приблизительных, относительно того, какие предметы соответствовали друг другу по стоимости. Это помогает объяснить, почему, например, в средневековых валлийских судебныхниках подробно указывалась не только стоимость молочных коров разного возраста и физического состояния, но и денежная стоимость любого предмета, который можно было найти на обычном крестьянском дворе, вплоть до последнего полена, — несмотря на то что нет оснований верить, что в те времена бóльшая часть этих вещей продавалась на открытом рынке[97].

\*\*\*

Всё это звучит очень убедительно. Это предположение исходит из интуиции. В конце концов, всем, что у нас есть, мы обязаны другим. Это чистая правда. Язык, на котором мы говорим и даже думаем, наши привычки и суждения, еда, которая нам нравится, технология, которая зажигает лампочки и спускает воду в туалете, даже наши формы протеста и бунта против общественных условностей — всё это мы получили от других людей, большинство из которых уже умерло. Если бы всё, чем мы им обязаны, мы представляли в виде долга, то он был бы бесконечен. Вопрос вот в чем: имеет ли смысл считать всё это долгом? В конце концов, долг по определению является чем-то таким, что мы чисто теоретически можем выплатить. Довольно странно хотеть рассчитаться со своими родственниками — это скорее будет означать, что ты просто больше не желаешь считать их таковыми. Хотели ли бы мы на самом деле рассчитаться со всем человечеством? Что это вообще значило бы? И действительно ли подобное желание является ключевой особенностью человеческого мышления?

Это можно выразить иначе: описывают ли приверженцы теории первоначального долга миф, или они открыли истину человеческой природы, которая справедлива для всех обществ? Действительно ли эта истина столь очевидно вытекает из некоторых древних индийских текстов? Или же они придумывают собственный миф?

Разумеется, второе. Они придумывают миф.

Выбор ими ведийского материала весьма показателен. Дело в том, что мы почти ничего не знаем о людях, составивших эти тексты, и очень мало — об обществе, которое их создало[98]. Мы даже не знаем, существовали ли процентные ссуды в Индии ведийской эпохи — что, безусловно, влияло на то, действительно ли жрецы видели в жертвоприношении уплату процентов по займу, который берется у смерти[99]. А значит, этот материал может служить пустым полотном или полотном, покрытым неизвестными иероглифами, — мы можем наносить на него всё что угодно. Если мы посмотрим на другие древние цивилизации, о которых мы знаем несколько больше, то обнаружим, что они не рассматривали жертвоприношение как уплату долга[100]. Если мы обратимся к трудам древних богословов, выяснится, что большинство из них были знакомы с мыслью о том, что

жертвоприношение — это способ вступить в коммерческие отношения с богами, но она им казалась смешной: если у богов и так есть всё, что они хотят, что могут предложить им люди?[101] В предыдущей главе мы видели, как трудно было делать подарки королям. С богами (не говоря уже о Боге) проблема усложнялась еще больше. Обмен предполагает равенство, которое в отношениях с вселенскими силами в принципе считалось невозможным.

Представление о том, что долги перед богами были присвоены государством и положили начало системам налогообложения, тоже не выдерживает критики. Проблема в том, что в Древнем мире свободные граждане налогов обычно не платили. Как правило, дань взималась только с покоренных народов. Так было уже в Древней Месопотамии, где жители независимых городов вообще не должны были платить налоги. Античные греки, как пишет Мозес Финли, «считали прямые налоги проявлением тирании и уклонялись от них, когда только могли»[102]. Афинские граждане не платили никаких прямых налогов, зато город иногда раздавал им деньги — это было своего рода обратное налогообложение. Иногда это делалось напрямую, как в случае доходов от Лаврийских серебряных рудников, а иногда — косвенно, посредством щедрых выплат за участие в суде в качестве присяжного или за посещение народного собрания. Покоренные же города обязаны были выплачивать дань. Даже в Персидской империи персы не должны были платить дань Великому царю, в отличие от жителей завоеванных провинций[103]. То же происходило и в Риме, где в течение очень долгого времени римские граждане не только не платили налогов, но и имели право на получение своей доли дани, взысканной с других, в виде раздач хлеба — одной из двух частей знаменитого требования «хлеба и зрелищ»[104].

Иными словами, Бенджамин Франклин ошибался, когда говорил, что в этом мире нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов. Это делает гораздо более труднодоказуемой идею о том, что долг перед первой — это лишь вариация второго.

Однако всё это не наносит сокрушительного удара по государственной теории денег. Даже те государства, которые не требовали налогов, взимали разного рода штрафы, взыскания, сборы и пени. Но это очень трудно примирить с теорией, которая утверждает, что государства возникли как хранители некоего вселенского, изначального долга.

Любопытно, что приверженцам теории первоначального долга нечего сказать о Шумере или Вавилоне, хотя именно в Месопотамии впервые сложилась практика давать деньги в рост: возможно, за две тысячи лет до того, как были составлены Веды, и именно там появились первые в истории государства. Но если мы обратимся к месопотамской истории, то их молчание оказывается не столь уж удивительным. То, что мы там обнаруживаем, прямо противоположно утверждениям подобных теоретиков.

Читатель помнит, что в месопотамских городах-государствах доминировали храмы — гигантские, сложные производственные комплексы, в которых зачастую трудились тысячи людей — от пастухов, бурлаков, прядильщиков и ткачей до танцовщиц и храмовых управителей. Около 2700 года до н. э. наиболее дальновидные правители начали подражать им, создавая дворцовые комплексы, которые были организованы по тем же принципам, за тем лишь исключением, что если ключевым элементом храмов были священные покои бога

или богини, представленных священным изображением, которое слуги кормили, одевали и развлекали так, как если бы оно было живым человеком, то во дворцах в этом качестве выступали покои живого царя. Шумерские правители редко провозглашали себя богами, но часто приближались к этому статусу. Тем не менее, когда они вмешивались в жизнь своих подданных в облики правителей вселенной, они не вводили государственные долги, а, скорее, упраздняли долги частные[105].

Мы точно не знаем, когда и как возникли процентные ссуды, так как произошло это до появления письменности. Скорее всего, храмовые управители придумали их для того, чтобы финансировать караванную торговлю. Она имела ключевое значение, поскольку, хотя речные долины Древней Месопотамии были чрезвычайно плодородными и давали крупные излишки зерна и другого продовольствия, а также обеспечивали пропитанием огромное количество скота, на разведении которого, в свою очередь, зиждилось крупное производство шерсти и кожи, ничего другого там не было. Камни, дерево, металлы и даже серебро, использовавшееся в качестве денег, — всё это нужно было импортировать. Поэтому уже в ранние времена храмовые управители привыкли одалживать товары, шедшие на экспорт, местным купцам, некоторые из которых были частными лицами, другие — храмовыми чиновниками. Для храмов процент был возможностью участвовать в доходах от заморской торговли[106]. Едва появившись, эта практика получила широкое распространение. Очень скоро мы обнаруживаем займы не только торговые, но и потребительские, то есть ростовщичество в классическом смысле слова. Около 2400 года до н. э. для местных чиновников и состоятельных купцов обычной практикой стало предоставление ссуд под залог крестьянам, столкнувшимся с финансовыми затруднениями, и присвоение их собственности, в случае если они не могли вернуть долг. Как правило, всё начиналось с зерна, овец, коз и мебели, потом в дело шли поля и дома или же члены семьи. Если у крестьянина были слуги, они отправлялись к заимодавцу, за ними следовали дети, жены, а в исключительных случаях — и сам должник. Они превращались в долговых рабов, которые почти не отличались от обычных и были обязаны вечно трудиться в хозяйстве кредитора или же в храмах и дворцах. Конечно, чисто теоретически каждый из них мог выкупить себя, вернув долг, но по понятным причинам чем меньше ресурсов оставалось в руках крестьянина, тем труднее это было сделать.

Зачастую это приводило к таким последствиям, которые грозили уничтожить общество. Если по какой-либо причине случался неурожай, множество крестьян попадали в долговое рабство, разрушались семьи. Очень скоро земли стали пустовать, поскольку отягощенные долгами крестьяне покидали свои дома, боясь попасть в руки кредиторов, и присоединялись к полукочевым бандам, обретавшимся на пустынных окраинах городской цивилизации. Сталкиваясь с угрозой полного развала общества, шумерские, а затем и вавилонские цари периодически объявляли всеобщие амнистии, которые, по выражению историка экономики Майкла Хадсона, позволяли начать все «с чистого листа». Такие декреты обычно объявляли недействительными все невыплаченные потребительские долги (торговых долгов это не касалось), возвращали все земли их первоначальным владельцам и позволяли долговым рабам вернуться к своим семьям. Очень скоро у царей вошло в обычай провозглашать амнистию при вступлении на трон, а многим приходилось неоднократно повторять ее на протяжении своего правления.

В Шумере эти амнистии называли «провозглашением свободы»; примечательно, что шумерское слово *amargi* — первое записанное слово из всех известных языков, обозначающее свободу, — дословно переводится как «возвращение к матери», поскольку именно это позволялось сделать освобожденным долговым рабам[107].

Майкл Хадсон утверждает, что месопотамские цари могли это делать только благодаря своим вселенским притязаниям: получая власть, они считали, что буквально воссоздают человеческое общество и способны упразднить все предшествующие нравственные обязательства, дабы начать всё с чистого листа. Но всё это очень далеко от того, что представляют себе приверженцы теории изначального долга[108].

\*\*\*

Наверное, главная проблема всей этой литературы заключается в первоначальном допущении, что всё начинается с бесконечного долга человека перед чем-то под названием «общество». Этот долг перед обществом мы проецируем на богов. Этот же долг затем превращается в долг перед царями и национальными правительствами. Концепция долга вводит в заблуждение, так как мы представляем себе, что мир состоит из ряда компактных, однообразных единиц под названием «общества» и что все люди знают, к какому из них они принадлежат. В истории такое случалось редко. Представим, что я армянский купец, христианин по вероисповеданию, живущий в империи Чингисхана. Что будет для меня «обществом»? Город, где я вырос, международное сообщество купцов (с собственными нормами поведения), в рамках которого я веду повседневные дела, другие люди, говорящие по-армянски, христиане (или только православные) или же все жители Монгольской империи, раскинувшейся от Средиземного моря до Кореи? Царства и империи редко когда были для людей самыми важными ориентирами. Царства появляются и исчезают; они могут укрепляться и ослабевать; правительства лишь спорадически вмешиваются в жизнь людей, и в истории часто случалось так, что многие люди вообще не очень точно знали, под властью какого правительства они находились. Еще совсем недавно многие жители планеты не знали точно, гражданами какой страны они являются, и не понимали, какое это вообще имеет значение. Моя мама, еврейка, родившаяся в Польше, однажды рассказала мне такой забавный случай из своего детства:

“ На границе между Россией и Польшей был маленький городок, и никто точно не знал, какой стране он принадлежит. Однажды был подписан официальный договор, и вскоре после этого в город приехали топографы, чтобы провести границу. Пока они устанавливали свои приборы на соседнем холме, к ним подошли несколько местных жителей.

— Так мы живем в Польше или в России?

— По нашим расчетам, ваше селение находится на польской территории, в тридцати семи метрах от границы.

Местные жители тут же начали плясать от радости.

— Почему? — спросили их топографы. — Какая вам разница?

— Разве вы не понимаете, что это значит? — ответили они. — Это значит, что нам больше не придется терпеть эти ужасные русские зимы!

Однако, если, рождаясь, мы оказываемся в безмерном долгу перед людьми, которые позволили нам появиться на свет, но при этом такой единицы, как «общество», не существует, то кому или чему мы на самом деле этим обязаны? Всему и всем? Одним людям и вещам больше, чем другим? И как мы выплачиваем долг чему-то столь расплывчатому? Или, точнее, кто и на каких основаниях может претендовать на то, чтобы говорить нам, как мы можем его выплатить?

Если мы сформулируем проблему таким образом, то авторы Брахман предлагают довольно сложный ответ на нравственный вопрос, на который с тех пор никто так и не смог ответить лучше. Как я уже говорил, мы мало что можем узнать об условиях, в которых писались эти тексты, но имеющиеся у нас данные говорят о том, что ключевые документы датируются периодом между 500 и 400 годом до н. э., то есть приблизительно временем, когда жил Сократ. По-видимому, в ту эпоху торговая экономика и такие вещи, как чеканка монет и процентные ссуды, стали входить в повседневную жизнь, и индийские интеллектуалы того времени, так же как и их коллеги в Греции и Китае, начали размышлять о возможных последствиях этого. Для них вопрос формулировался следующим образом: что значит представлять наши обязанности в виде долгов? Кому мы обязаны нашим существованием?

Примечательно, что в их ответе не упоминалось ни «общество», ни государства (хотя в Древней Индии, безусловно, были цари и правительства). Они сосредоточивались на долгах перед богами, мудрецами, отцами и «людьми». Их формулировку совсем нетрудно перевести на более современный язык. Получится следующее. Мы обязаны своим существованием прежде всего:

Вселенной, космическим силам, или, выражаясь современным термином, Природе. Это основа нашего существования. Выплачивается посредством ритуала, который являет собой акт уважения и признания всего того, в сравнении с чем мы малы[109].

Тем, кто создал знания и добился культурных достижений, которые мы больше всего ценим и которые определяют форму и смысл нашего существования. Сюда входят не только философы и ученые, создавшие нашу интеллектуальную традицию, но и все от Уильяма Шекспира до той давно забытой женщины, которая где-то на Ближнем Востоке впервые замесила тесто и испекла хлеб. Мы расплачиваемся с ними, участь и внося свой вклад в человеческие знания и культуру.

Нашим родителям и их родителям — нашим предкам. Мы расплачиваемся с ними, сами становясь предками.

Человечеству в целом. Мы расплачиваемся с ним, проявляя щедрость по отношению к посторонним, поддерживая базовый уровень социального общения, который делает

возможным человеческие отношения, а значит, и жизнь.

Но в таком виде аргумент обращается против своих исходных посылок. Тут нет ничего похожего на коммерческие долги. В конце концов, человек может расплачиваться с родителями, воспитывая своих детей, но никто не думает, что с кредитором можно расплатиться, одолжив денег кому-нибудь другому[110].

Мне самому интересно: может быть, суть именно в этом? Возможно, авторы Брахман на самом деле пытались доказать, что в конечном счете наши отношения с космосом не имеют и не могут иметь ничего общего с коммерческой сделкой, потому что коммерческая сделка предполагает равенство сторон и их обособление. Все эти примеры касаются грядущего обособления: вы освобождаетесь от долга перед предками, сами становясь предками; вы освобождаетесь от долга перед мудрецами, сами становясь мудрецами; вы освобождаетесь от долга перед человечеством, проявляя человечность. Тем более это относится к рассуждениям о Вселенной. Раз вы не можете торговаться с богами, потому что у них и так уже всё есть, то и со Вселенной торговаться не получится, потому что Вселенная есть всё, вместе взятое, и это всё, вместе взятое, включает и вас. Этот список можно рассматривать и как выражение мысли о том, что единственная возможность «освободить себя» от долга заключается не в буквальной уплате долгов, а в том, чтобы показать, что эти долги не существуют, поскольку мы не можем отделить себя от них, чтобы по ним расплатиться, а значит, само понятие упразднения долга и обретения независимого существования изначально бессмысленно. И даже само допущение такого отделения себя от человечества или космоса, которое позволит вступить с ними в деловые отношения, является преступлением, наказанием за которое станет смерть. Наша вина состоит в том, что мы осмеливаемся представлять себя равными Всему Прочему, что Существует или Когда-Либо Существовало, и ставим подобный долг во главу угла[111].

Давайте взглянем и на вторую часть этого уравнения. Даже если можно представить, что мы находимся в абсолютном долгу перед космосом или человечеством, возникает другой вопрос: кто имеет право выступать от имени космоса или человечества и говорить нам, как следует выплачивать этот долг? Если можно вообразить что-то более нелепое, чем считать себя обособленным от всей Вселенной и потому имеющим возможность вступить с ней в переговоры, так это претензии на то, чтобы высказываться от ее имени.

Если исходить из идеалов такого индивидуалистского общества, как наше, то можно было бы сказать так: все мы в бесконечном долгу перед человечеством, обществом, природой или космосом (кому что нравится), но никто не может сказать, как мы должны с ним расплачиваться. Это, по крайней мере, было бы обоснованно. Тогда практически все системы, основанные на признанном авторитете, — религию, нравственность, политику, экономику и уголовное правосудие — можно было бы рассматривать как разнообразные способы рассчитать то, что рассчитать нельзя, как системы, которые присваивают себе право говорить нам, как должны выплачиваться определенные части безграничного долга. Тогда человеческая свобода состояла бы в возможности решать, как мы хотим это делать.

Насколько я знаю, никто и никогда такого подхода не придерживался. На самом деле теории экзистенциального долга всегда служат средствами оправдания властных структур

или выдвижения требований в их адрес. В этом отношении пример индуистской интеллектуальной традиции весьма показателен. Долг перед человечеством появляется лишь в нескольких ранних текстах — позже о нем забывают. Почти все более поздние индуистские комментаторы ничего о нем не говорят, делая акцент на долге человека перед своим отцом[112].

\*\*\*

У приверженцев теории изначального долга есть вопросы поважнее. На самом деле их интересует не космос, а «общество».

Давайте еще раз вернемся к слову «общество». Оно кажется таким простым, самоочевидным понятием потому, что мы, как правило, используем его как синоним слова «народ». Когда американцы говорят об уплате долга перед обществом, они не думают о своих обязательствах перед людьми, живущими в Швеции. Но понимание общества как единого, взаимосвязанного организма возможно лишь благодаря современному государству с его сложными системами охраны границ и социальной политикой. Именно поэтому перенесение этого понятия в ведийскую эпоху или в Средневековье лишь сбивает с толку, хотя другого слова у нас и нет.

Мне кажется, что именно это и делают сторонники теории изначального долга — переносят это понятие в прошлое.

На самом деле весь комплекс идей, о которых мы говорим: представление о том, что есть нечто под названием общество, что мы в долгу перед ним, что правительства могут говорить от его имени, что его можно представить в виде своего рода светского бога, — все эти идеи появились приблизительно во время Французской революции или сразу после нее. Иными словами, они зародились одновременно с идеей современного национального государства.

Мы можем их увидеть в четко выраженной форме уже в работах Огюста Конта. Конт, французский философ и политический памфлетист первой половины XIX века, сегодня известный прежде всего изобретением термина «социология», в конце своей жизни зашел настолько далеко, что даже предложил религию общества под названием позитивизм, во многом повторявшую средневековый католицизм с его облачениями, у которых пуговицы располагались на спине (так что их нельзя было надеть без помощи других). В своей последней работе «Позитивистский катехизис» он изложил первую теорию общественного долга. В определенный момент некто спрашивает позитивистского священника, что тот думает о правах человека. Священник поднимает его на смех. Это бессмыслица, говорит он, ошибка, порожденная индивидуализмом. Позитивизм признает лишь обязанности. В конце концов,

“ все мы рождаемся с грузом обязательств самого разного рода — перед нашими предшественниками, наследниками, современниками. После нашего

рождения эти обязательства возрастают или накапливаются еще до того момента, когда мы можем возмещать любому человеку любую услугу. Так на каком человеческом основании может зиждиться представление о «правах»? [113]

Хотя Конт не использует слово «долг», смысл его рассуждений вполне понятен. Мы накапливаем бесконечное количество долгов к моменту достижения возраста, когда можем осознать, что должны их выплатить. К этому времени уже невозможно установить, кому, собственно, мы их должны. Единственный способ погасить их — посвятить себя служению человечеству в целом.

При жизни Конта считали безумцем, но его идеи имели большое влияние. Понятие безграничных обязательств перед обществом трансформировалось в понятие общественного долга, которое взяли на вооружение социальные реформаторы и социалисты во многих странах Европы и за ее пределами [114]. «Мы все рождаемся в долгу перед обществом»: во Франции понятие общественного долга быстро превратилось в лозунг, если не сказать в клише [115]. В соответствии с этой точкой зрения государство просто является управляющим экзистенциального долга, который все мы несем перед обществом, создавшим нас, и который не в последнюю очередь воплощается в том, что жизнь каждого из нас полностью зависит от других людей, хотя мы и не совсем отдаем себе в этом отчет.

В определенных интеллектуальных и политических кругах получили развитие идеи Эмиля Дюркгейма, основателя социологической науки в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Он пошел еще дальше Конта, заявив, что все боги во всех религиях всегда являются проекцией общества, а значит, нет необходимости в обособленной религии общества. По Дюркгейму, все религии — это просто форма признания нашей взаимозависимости друг от друга, которая влияет на нас тысячами разных способов и которую мы никогда полностью не осознаем. «Бог» и «общество», в сущности, одно и то же.

Проблема в том, что уже много столетий признается, что хранителем долга, который мы несем за всё это, и законным представителем аморфного социального целого, которое позволило нам стать личностями, обязательно должно быть государство. Почти все социалистические режимы опирались на ту или иную версию этого положения. Ярким примером здесь служит то, как Советский Союз оправдывал запрет для своих граждан эмигрировать в другие страны. Аргумент был неизменным: СССР вырастил и воспитал этих людей, сделал их такими, какие они есть. На каком основании они забирают плод наших вложений и перевозят его в другую страну, как если бы они ничего не были должны? Эта логика была характерна не только для социалистических режимов. Националисты взывают к тем же самым доводам — особенно во время войны. А национализм до некоторой степени присущ всем современным правительствам.

Можно даже сказать, что идея изначального долга представляет собой главный националистический миф. Раньше мы были обязаны жизнью богам, которые нас создали, и платили им проценты, принося им в жертву животных, а основную часть долга возвращали нашими жизнями. Теперь мы обязаны народу, который нас выпестовал, платим проценты в виде налогов, а когда приходит час защищать народ от врагов, готовы оплатить долг

жизнью.

Это великая ловушка двадцатого столетия: с одной стороны, есть логика рынка, где мы представляем себя индивидами, которые никому ничего не должны. С другой стороны, есть логика государства, в соответствии с которой мы все изначально несем бремя долга, но оплатить его мы не в состоянии. Нам постоянно говорят, что рынок и государство противоположны друг другу и что только в пространстве между ними у человека остается простор для действий. Но это ложное противопоставление. Государства создали рынки. Рынкам требуется государство. Одно не может существовать без другого, по крайней мере в том виде, в котором мы наблюдаем их сегодня.

---

Версия #1

Зверобой создал 26 июня 2025 13:35:22

Зверобой обновил 26 июня 2025 13:41:45